



## Незнакомый Грэм Грин

90-летие Грина отмечается весьма своеобразно: разного рода разоблачительными публикациями, сообщениями о распродаже наследниками его библиотеки, копанием в его личной жизни, которая в сущности никого не касается. Страсть и ниспровержению кумиров овладела умами настолько, что отличить истинное от ложного, кажется, уже почти невозможно.

А хочется — совсем иного: нет, не возвеличить Грина — в этом он не нуждается, — а просто ОТДАТЬ ЕМУ ДОЛЖНОЕ. Работая над биографией, посвященной его творчеству (она выйдет в свет в будущем году в издательстве Библиотеки иностранной литературы «Рудомино»), я открыл для себя совершенно незнакомого, непривычного Грина — не автора хрестоматийно известных романов «Наш человек в Гаване» и «Тихий американец», даже не прочитанных сравнительно недавно «Мон-

синьора Нихота» и «Силы и славы», а Грина-эссеиста. К сожалению, даже в издаваемом сейчас 6-томном Собрании сочинений Грина (издательство «Художественная литература»), наиболее на сегодняшний день полным русским Грине, эта сторона его творчества вновь будет непостижимо отсутствовать.

В своих эссе Грин раскрывается совсем иной ипостасью: этот писатель, как казалось, прикованный к современности, подчас почти одурманенный ею, — жил еще и второй, тайной жизнью, которая, быть может, и была — НАСТОЯЩЕЙ. Не выходя из своей лондонской квартиры,

он умел вызывать из небытия тени изумительных писателей прошлых веков: и знаменитых, и полузабытых.

Форд Мэдокс Форд, Генри Джеймс, Честертон, Джозеф Конрад — их он называл своими учителями; Динкенс, Стерн, Филдинг, и рядом — многие иные, чьи имена, боюсь, не очень много говорят сегодня даже в Англии — он писал о них точно, кратко, афористично, умея увидеть в каждом — свое, то, что еще никому и никогда не открывалось. Читая эти эссе, понимаешь, что на самом деле и заворочен, и одурманен он был — великим прошлым английской словесности, которую и

знал блистательно, и чувствовал, ощущал — удивительно органично, какими-то внутренними токами, неожиданно и парадоксально с ней совпадая. Он входил в прошлое английской литературы — как и себе домой, и разговаривал с предшественниками не просто на равных, он вел с ними диалог на одном языке, абсолютно понимая, о чем они думали, мечтали, печалились в своем восемнадцатом или девятнадцатом веке.

А открывались все его сборники эссе — вот этим, названным им «Утраченное детство». В нем есть все — и ум исследователя, и интуиция читателя, и подступно звучащая исповедальная нота. Есть, быть может, самое главное: умение соединить прошлое и настоящее в один общий, бесконечно длиющийся, путь человечества.

Юрий  
ФРИДШТЕЙН.

**Уильям ГОЛДИНГ:** «Лучшие из его романов останутся в памяти как образцы литературного совершенства. Грина будут читать и помнить как писателя, зафиксировавшего сознание и тревоги человека XX столетия».

**Джон Ле КАРРЕ:** «Когда я был начинающим писателем, Грин являлся для меня чем-то вроде путеводной звезды. Я имел счастье встретиться с ним двадцать пять лет тому назад, в Вене, и, подобно всем остальным, подпал под обаяние его магии, его власти над людьми. Он обладал потрясающей непокорностью, независимостью духа».

**Энтони БЕРДЖЕС:** «Грин признавал, что ни один из его романов не был «великим». Он согласился с суждением Нобелевского комитета, посчитавшего его слишком популярным для того, чтобы получить Нобелевскую премию, присуждающуюся традиционно достойным, но плохо прода-

ющимся книгам. В возрасте семидесяти пяти лет он сказал мне, что ждет более высокой награды, нежели Нобелевская. Какой? Смерти. Бывало, он говорил, что хочет этого финального благословения, или же проклятия, но несомненно и то, что он всегда умел радоваться жизни: высокой, подтянутой, с пронзительным взглядом, обладатель очаровательной любовницы-француженки, поклонник французских вин...».

**Виктор Соден ПРИТЧЕТТ:** «Его оригинальность заключалась в его таланте путешественника. У него был обостренный слух и взгляд на необычность самой обыкновенной жизни и на ее самые обыкновенные взлеты и падения. Дилеммы, стоявшие перед его героями, были намного драматичнее, нежели казалось им самим. Его проза крайне проста и прозрачно ясна, она живая в своем обращении к человеку, в ней звучит и смех, и прощение...».

Грэм  
ГРИН

# УТРАЧЕННОЕ ДЕТСТВО

Наверное, только в детстве книги оказывают такое воздействие на нашу жизнь. Позже, став взрослыми, мы можем наслаждаться, увлекаться, под их влиянием некоторые наши представления могут как-то развиться — но все же мы более склонны искать в них подтверждения того, что уже заложено в нашем сознании. Так в любви мы живем отраженным светом собственных достоинств.

Но вот в детстве все книги — это голос Бога, говорящего с нами о нашем будущем, о грядущем, и, подобно предсказателю, который по картам умеет предсказать дальнюю дорогу или смерть от воды, они оказывают воздействие на нашу жизнь. Что можно сравнить сегодня с тем восторгом, с тем чувством первооткрывателя, которое испытываешь от чтения в первые четырнадцать лет жизни? Конечно, сейчас мне любопытно узнать о предстоящем весной выходе нового романа Э. М. Форстера — но разве это тихое предвкушение вполне скромного удовольствия можно сравнить с тем сердцбиением, с тем потрясающим ликованием, которое когда-то я ощутил, найдя на полке романы Райдера Хаггарда, Перси Уэстермана, Капитана Брертона или Стенли Веймана, которых я не читал раньше? Нет, только в юности мы ищем в книгах тех потрясений, что в корне изменят всю нашу жизнь, это наше путешествие к смерти.

Я отчетливо помню это «вдруг», когда, будто ключ повернулся в замке, и я понял, что могу читать — не просто предложения в книге для чтения, где слоги выстраиваются как вагончики в поезде, но читать настоящую книгу. Она была в бумажной обложке, на которой был изображен мальчик, связанный, с клепком во рту, раскачивающийся на веревке внутри глубокого колодца, вода уже дошла ему до пояса, — приключения Диксона Бретта, детектив.

Все лето напролет я, как мне казалось, держал это в секрете: я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что я могу читать. Думаю, что это был поворотный момент. Теперь, когда я мог читать, я был в безопасности — колеса жизни еще не начали вертеться, но будущее уже ждало меня на книжных полках, повсюду, куда ни кинь взгляд, — только выбирай: жизнь бухгалтеря, или служащего в колониях, или плантатора в Китае, или

просто работа в банке, счастье и убожество, а в итоге — та смерть, которую мы выбираем, ибо, несомненно, мы выбираем смерть так же, как выбираем работу. Она возникает сама из наших страхов и озарений мужеством.

Я думаю, моя мать раскрыла мой секрет, ибо по дороге домой мне подарили, чтобы я читал в поезде, еще одну настоящую книгу, «Коралловый остров» Баллантайна, с одной-единственной картинкой на обложке. Но я не поддался. Весь путь я смотрел на эту обложку и ни разу не раскрыл книгу.

Но там, дома, книги на полках ждали меня — много полок с книгами, ведь у нас была большая семья — а какая-то одна книга ждала меня особенно, но чтобы достать ее, надо было снять с полки еще несколько. И каждая заключала в себе «магический кристалл», через который ребенок мечтал увидеть истинное движение жизни.

Вот, в разноцветной обложке, «Пиратский аэроплан» Капитана Гилсона — я читал его, наверное, раз шесть, историю забытой цивилизации в Сахаре и жестокого янки-пирата, летающего на аэроплане, похожем почему-то на воздушного змея, с бомбами, размером с теннисный мяч. Он требовал от золотого города выкуп — и его спас молодой герой — офицер, который подполз к пиратскому лагерю и вывел аэроплан из строя. Его поймали и заставили смотреть, как враги копали ему могилу. Офицера должны были расстрелять на рассвете, и, чтобы убитый время и отвлечь от горестных мыслей, он принялся играть в карты с незлобивым янки-пиратом, в детскую игру Кун Кан. Память об этой ночной игре, не на жизнь, а на смерть, преследовала меня долгие годы, пока я в конце концов не ввел в один из своих романов сцену игры в покер.

Здесь же стояла «Софи из Кравонии» Энтони Хоупа — история кухарки, ставшей королевой. Один из первых фильмов, который я увидел где-то в 1911 году, был снят по этой книге, и я до сих пор слышу бой королевских барабанов при переходе через высокий перевал в Кравонии. Там же была «История Френсиса Кладда» Стенли Веймана, и самая главная книга — «Копи царя Соломона».

Эта книга не очень потрясла меня, но она предопределила мое будущее. Если бы не романтическая история Аллана Квотермейна, сэра Генри Куртиса, капитана Гуда и старой ведьмы Гагулы, стал бы я, когда мне исполнилось девятна-

дцать, изучать список вакантных мест в Министерстве колоний, чтобы в итоге выбрать военно-морской флот в Нигерии? Да и позже, когда я уже больше должен был понимать, что к чему, детская одурманенность Африкой жила во мне.

В 1935 году, заболев лихорадкой, я лежал на койке в хижине в Либерии, при свете тусклой свечи, вставленной в пустую бутылку из-под виски, где единственными признаками жизни были шуршавшие крысы в темноте! И не это ли неизлечимое потрясение Гагулой, с ее желтым голым черепом, с изъеденным морщинами лицом, которое двигалось, как голова кобры, — но оно привело меня в 1942 году в маленькую душную контору в Фритауне в Сьерра-Леоне и поддерживало там в течение целого года?

Не слишком много общего между страной Кукуанов, затерянной в пустынях, и жалким домишкой, стоящим на болоте, где стервятники расхаживали, как домашние индюшки, а бродячие собаки своим воем будили меня по ночам; но они находились на одном континенте и в одном царстве воображения: в царстве неопределенности, когда не знаешь, что к чему приведет. Однажды я подошел еще ближе к Гагуле и ее подругам-ведьмам, ночью, в Зигите, на либерийской стороне границы с Французской Гвинеей. Мои слуги сидели в наглухо закрытых хижинах, положив руки на глаза, кто-то бил в барабан, и весь город замер за запертыми дверями, пока Большой Дьявол (при виде которого человек терял зрение) бродил между хижинами.

Но и «Копи царя Соломона» не удовлетворили меня вполне. Книга не дала мне ответа на мой главный вопрос. Ключ не подошел. С Гагулой все ясно — она ждала меня во сне каждую ночь, в проходе рядом с комодом с бельем, возле двери в комнату няни. Когда я болен или устал — она тут как тут, хотя теперь она и одета в теологические одежды. Отчаяния и голос ее похож на голос Спенсера:

Чем дольше жизнь — тем тяжелей грехи,  
Чем больше грех — тем больше наказание.

Да, Гагула преследовала меня, но, что касается Квотермейна и Куртиса — они, даже тогда, когда мне исполнилось всего десять лет, были «слишком хороши, чтобы быть правдой». Они были людьми, столь совершенными (если они и при-

знавали за собой недостатки, то только для того, чтобы тут же их преодолеть), что нерешительный, непостоянный ребенок не мог надолго на них сосредоточиться, его подавляла их монументальность.

Ребенок ведь, в сущности, знает все правила игры — он только не всегда умеет ими воспользоваться, вот и все. Ему вполне понятны трусость, позор, обман, разочарование. Карабкающийся по скале сэр Генри Куртис — он истекает кровью, но продолжает сражаться с остатками Серых против полчищ Твалы, — был для него слишком неправдоподобным героем. Эти люди — словно идеи Платона: они мало похожи на жизнь, такую, какой человек ее познал.

Но когда позже — мне, наверное, было уже четырнадцать — я прочел снятую с полки в библиотеке книгу Марджори Боуэн «Миланское чудовище», будущее впервые предстало передо мной. С этого момента я начал писать. И все прочие варианты моего будущего отступили: служащий, университетский преподаватель, чиновник — все они предназначались для кого-то другого. После чтения великолепного романа мисс Боуэн в моем блокноте стали появляться подражание за подражанием — истории Италии XVI века или современной Англии, все отмеченные немыслимой жесткостью и отчаянным романтизмом. Такое было впечатление, что я навсегда заворочен сюжетом ее романа.

Отчего так? На поверхности роман «Миланское чудовище» — всего-навсего история войны между Джаном Галеаццо Висконти, герцогом миланским, и Мастино делла Скала, герцогом веронским, рассказанная с живостью и захватывающей выразительностью. Почему она так вошла в мой мир, по-своему окрасив и раскрыв его для меня, в этот реальный мир каменных лестниц и никогда не утихающей от шума спальни? В этом реальном мире не стоило и мечтать о том, чтобы стать похожим на сэра Генри Куртиса. Но делла Скала, поступившийся честью, за которую никогда не платили, и кончивший предательством своего друга, а затем умерший от позора, даже в обмане потерпев фиаско, — другое дело, ребенку легче спрятаться за его маской.

А что касается красавца Висконти, этого гения зла, тысячу раз я наблюдал, как он проходит мимо меня в своем воскресном черном костюме, пахнущем нафталином. Его имя было Картер. Он издавала внушал ужас, как снежное